

Леонид Шкавро



СЕРДЦЕБИЕНИЕ



Леонид Шкавро

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

СТИХИ, ПОЭМА

«Современник» • Москва • 1979

1

P2
Ш66

Шкавро Л. Г.

Ш66 Сердцебиение: Стихи, поэма. — М.:
Современник, 1979. — 142 с. с ил.

Уральский поэт воспевает в своих стихах человека, занятого созидательным трудом, вечно ищущего, открывающего, влюбленного в свой индустриальный Урал.

Стихи привлекают своей простотой, достоверностью деталей.

Ш	$\frac{70402 - 047}{M106(03) - 79}$	191—79	4702010200	P2
---	-------------------------------------	--------	------------	----

Землепроходцы





Одоление

Не потеряв былой сноровки,
под небом

 сумрачной поры
в седой загрибок
бурой сопки,
урча,

 вгрызаются буры.
Дымят грунты...
Клубят бураны —
снега летучие,
потом
земле зализывают раны
шершаво-сизым языком.
Уходят в толщу
сопки голой
отяжелевшие буры,
и отзываются
на голос
парней

 девонские миры.
Глубины спящие тревожа,
осмыслив
тайны бытие,
как нам ни трудно было,
все же
мы распечатали ее.
И сопка

 в горной глухомани
уже

 работой занята...

И черным золотом
фонтанит,
напоминая нам кита.

Плотогоныч

С вересковой зеленой
хворостинкою во рту
восседает Плотогоныч
и державит на плоту.
И плывут

 легко и ровно,
обходя бурун-валы,
окантованные бревна
за далекий

 Усть-Балык.

Да ему в ряду бывалых
разве равного
найдешь,
если он

 на адмирала
чем-то

 чутьочку похож.

Он порою на порогах —
только б флот свой
уберечь —
как закатит

 в адрес бога
удивительную речь!..

А потом,

 шутя, заметит:

— Вот, брат, видишь,

и помог...

Стало быть,
еще на свете
иногда

сгодится бог... —

И с любовью плотогона,
где строители живут,

не по паспорту —

Платоныч, —

Плотогонычем зовут.

По реке

с тесовым лесом

в две версты

сосновый плот

под его началом

к месту

назначения

плывет,

где от нового

причала

отступила тишина...

Города берут

начало

с корабельного бревна.

В сургутском далеке

Я ставил дом
из парусины,
над ним,
 таинственно густа,
клубилась
 звоном комариным,
как липкий деготь,
темнота.
В чащобах
всхлипывали совы...
И сквозь развернутый покой
ползли неведомые
зовы,
стена в жути колдовской.
Скрипел дергач
в пространстве ночи
похлеще, чем
 дверной засов...
И не было —
 из нас —
охочих
идти в загадочность лесов.
Но было мне совсем
не страшно...
На поисковом рубеже
я вспоминал
 про день вчерашний —
и видел будущий
уже.
Сидел у сопок Чандо-Лаза,
и, от Тагила далеко,
я, как на жаркие алмазы,

глядел в костер

на светляков...

Потом со звездами

внакладку

глотал

шалфейный кипяток,

и всю тайгу,

как плащ-палатку,

я расстилал

у самых ног.

Рассвет в тайге

Небо, меж туч
 высмотрев щели,
пригоршни звезд
 кидает в ущелье...
Сполохи, вспыхнув,
недалеко
вскипают костром,
 раздуваемы ветром,
с гор,
как с мамонтовых боков,
стекают в густое начало
рассвета.
Тепло
из просторов космических
льется,
жадно
 слизывая туманы;
от брызг
 отряхивается
солнце
и улыбається над океаном.
И пахнет земля
 отсыревшими мхами,
расставив капканы
зыбучих болот,
а ветер
 окрепшими за ночь крылами
тебя обнимает
и не узнает...
И шастает он
у взметнувшихся вышек,
качающих нефть
 из земных тайников,—

и не храбрится,
а ласково дышит
в горячие лица

буровиков.

И только медведь,
на уставших не глядя,
как будто бы землепроходцев
и нету,
дремучею мордой
в загадочной пади
косматил малинник

шаимского лета.

* * *

В. Ф. Бокову

Березка

издавна искала
защиту верную,
пока
не отыскала,
не прижалась
к стволу
окрепшего дубка.

И к солнцу тянется,
прикрыта
листвой
от всех земных невзгод...

А вырастет —
и под защиту
сама
кого-нибудь
возьмет.

Баллада об открывателе

По едва уловимым жилам
и прожилкам,
 что вверх вели,
нефть сочилась,
века кружила,
пробивая грунты земли.
И пробилась она к Надыму:
из безмолвных пластов
всплыла
и соцветиями на спину
голубеющую легла.
А медведь
непривычный запах
долго нюхал
 и в глубь тайги
уносил на косматых лапах
перламутровые круги...
Капли нефти
 на морде гладкой
перекатывались огнем,
притаившиеся
загадкой
неразгаданною
 на нем...
Но однажды
сквозь кипень веток,
пробираясь на водопой,
неожиданно
 человека
он увидел перед собой.
Стервенея,
 могуче встал он
у надымского валуна...

И убил
проводник бывалый
неуемного шатуна.
— Полземли, почитай,
измерил, —
пробасил он, —
в тебе ж, тайга,
я пропахшего нефтью
зверя
отродясь
не встречал пока.

Понапрасну-то
сколь отрядом
верст исхожено под Умгой...
А оказывается,
рядом
клад хоронится —
под рекой.—

Подошел к старику
геолог,
в самокрутку кладя табак,
и улыбки своей
веселой
скрыть не мог от него
никак:
— Что ж, придется забыть
о славе;
мы вместо тебя
у реки
рыже-мраморного
поставим
открывателя
из тайги.

Добрая встреча

Лобасты и широкобровы,
рассвет ореховый хваля,
идут тропинкою кедровой,
ее обочины пылят...

На сапогах прозрачны росы,
несут заветное в душе,
в зубах мусоля папиросы,
давно погасшие уже.

А по земле, где только можно
расквартировывая синь,
над ними в просеке таежной
плывет медовая теплынь.

Светясь работой в ранней рани,
не скрыв волнение свое,
они, как будто на свиданье,
идут, сияя, на нее.

И, как родных, по-братски просто,
склоняясь ловко у тропы,
их кедрачевые подростки
любя хватают за чубы.

И рад, должно быть, новой встрече,
не погода, а в тот же миг
едва очнувшийся кузнечик
затренькал песенку о них.

Заря, взойдя волною алой
и обрета земную власть,
им в лица трепетно дышала,
в цветенье радуг, не скупясь.
Вставало утро высшей пробы,
и лишь в заулочках полян,
забившись к лешему в чащобы,
последний прятался туман.

**Рассвет искрился, чувством добрым
лучась с камчатской стороны,
и танцевал на звонких ребрах
сургутских вышек нефтяных.**

Малыши

От солнца отделившиеся пятна,
вбежавшие ко мне через окно,
резвились будто
рыжие зайчата,
по-детски и забавно и смешно.
Должно быть, тоже
радовались встрече,
но вскоре, удивленные, сочли,
что им уже
со мной заняться нечем,
повременили малость...
И ушли...
Казалось, ну и что ж?
А почему-то
без этих необычных малышей
вдруг стало одиноко,
неуютно
в чуть помрачневшей комнате моей.

Землепроходцы

(баллада)

1.

Оседлав валуны-пригорки,
на белесом песке реки
раскрылатились гимнастерки,
точно серые островки.
С нефтеносной земли Сургута
ветры — к нам

из-за скал седых

налетая легко

и круто —

соль выветривали из них.

И сметали разводы пота

с гимнастерок,

сводя на нет...

Ну, а кто же в них

так работал,

что они

потеряли цвет?!

2.

Память держит бывшее свято,—

отслужили свое

солдаты,

распрощались с полком родным

и приехали к нам

в Шаим.

Огляделись с дороги дальней,

и промолвил

один из них:

— Ну так что ж,

дорогой начальник,

дай местечко

для рядовых...

Да такое нам
 подбери там,
чтобы после оно
окрест
стало самым бы
 знаменитым
изо всех
 знаменитых мест.

3.

Ноги тонут
в трясине рыжей;
из качающихся болот
плывунами в траншеи
жижа,
изворачиваясь,
 плывет.

Из земли
проступают звуки
отгремевших давно эпох...
Глохнет голос,
 немеют руки,
чаще выдох,
 короче вдох...

Хлещет в лица,
дубасит в спины,
ломит ноги
 похлеще льда
наплывающая лавиной,
тиной пахнувшая вода.
Хоть убей,
 не идет на убыль —
ополчившаяся бедой, —
но врастают
 стальные трубы,
недовольные теснотой...

Пусть противится
непогода,
уступая не сразу им, —
только парни
 через болота,
оставляя вдали Шаим,
тянут нефтепровод
 к Нигражу,
и, встречая улыбкой дни,
экзотические пейзажи
на лопатки
 кладут они.

Теснился гул,
скопившийся в низинах,
и воздух у разбуженной горы
со сладковатым привкусом
бензина
вдыхали

захмелевшие боры.

А за спиной у них
накатом жутким,
как бы машин пугая караван,
уже подряд

почти седьмые сутки
бушует Ледовитый океан.

И до того земля
казалась шаткой,
что навсегда пропахшие дымком,
схватившиеся за нее
палатки
который день

ходили ходуном.

Но шла мечта
на север от Надыма:
в необоримой поступи парней
она была

ничем не обратима
в начало биографии своей.

И, непогоде шансов не оставив,
на всех меридианах
нефтяных
они совсем

не думали о славе,
она сама
отыскивала их.

Устремленность

А что ж такое все-таки —
покой?

Пока не знаю —

что это такое:

как видно, выпал жребий мне
такой,

в котором и

в помине нет покоя.

Я, сам себе поблажек не суля,
иду и верю

Родине любимой,

что сбережет

родимая земля

в любой беде

ей преданного сына.

И в необжитой дальней стороне
глухой тайги —

стремительно и бойко,

приветствуя, вызванивает мне
сигналы растревоженная сойка.

Я вслушиваюсь

в птичьи голоса,

где, ни о чем уже

не беспокоясь,

гремели их симфонией

леса,

в густой траве

увязшие по пояс.

И так их песня слышалась вдали

и ввысь плыла —

ей становилось тесно,—

что будто бы играли

всей земли

на фестивале праздничном
оркестры.

Чуть стихло, но черемухи кусты
еще звенят вовсю, не умолкая...

То снова заливаются клесты,
со мною расставаться не желая.

А я иду, последнюю еду
уже добил у Старого болота...

И в небе, как заветную
звезду,

ищу живую точку вертолета...

Кричу вовсю

куда-то в высоту,

и чудится,

что по знакомым вехам

мой голос

уплывает в пустоту

и глухо отзывается мне эхом.

А с ним, не заплутавшийся во мгле,
нагрянул с океана

частый дождик

и барабанит нудно по земле,

а может быть, в нее

вбивает гвозди...

Скрипят стволы трухлеющих сушин,

и, переняв неведомые звуки,

чернеющие заросли крушин

шумят,

глуша их тягостные муки...

Вмиг стихло все,

и даль почти ясна,

и из-за гор, потягиваясь сонно,

уже взошла

нелепая луна,

как бы дождем размытая икона.

В гнездовьях шебаршатся ястреба...

И, ночью околдованный,
как тайной,
на уши заглядевшимся грибам
я наступал негаданно,
случайно...

Озноб крепчал,
гудело в голове,
и, не осилив долгую усталость,
дрожа, я падал в толовы траве,
и дрожь моя в нее переливалась.
Но только — отменяется ночлег,
страшусь уснуть в стенаниях угрюмых...
И тут же, набредя
на верный след,
я нес в Унгой воскреснувшие думы:
вернусь я
к стосковавшей жене
и к ней прижмусь,
как к маленькому чуду,
и разметаюсь сладостно во сне
и все на этом свете
позабуду.
Как будто путь ушел мой в никуда...
И я живу, по дому не тоскуя,
хожу с женой
смотреть на поезда
и всем в дорогу едущим
машу я...

* * *

Не лови меня на уговоре,
что дороже денег уговор;
я давно живу
на Самотлоре,
приобщая к славе Самотлор.
Под шатром всевидящих созвездий
я во многих землях побывал,
но такой, как он, —
рабочей песни
никогда в себе не открывал.
Обозначась в северной пустыне
буровыми вышками...
она,
с нами породнившаяся,
ныне
надо всей планетою слышна.
Оттого-то в поисках всегда я,
осмысляя жизни бытие,
каждой чуткой клеточкой
врастаю
в подвиг создателей ее.
Самотлор — земли тюменской гордость.
Но, в ее вживаясь торжество,
если б не открыли Самотлора,
то и песни б
не было его.
Не ища судьбы себе
полегче
на пропахшем нефтью рубеже,
вовсе не заглядывая
в вечность,
с ней она
общается уже.

Достоинство

Дымя под небом струйкой синей,
хваляю Сванетии табак
и самой свежей олениной
питаю дымчатых собак.

А снег летит

густой и мокрый

и от меня в пяти шагах
бесследно плавится
на теплых,
на фиолетовых шматках.

И, одичало озираясь,
приблудный пес издалека
глядит на мясо
и вздыхает,

страшась смурного вожака...

Каюр на нартах, как на ребрах,
сидит,

махоркою пропах.

А я кормлю в дорогу
добрых
и незлопамятных собак.

На них гляжу,
с любовью глажу:
им снова выпало —
тайгой

тянуть геологов поклажу,
где не ступал

сам черт ногой.

Им тундра — дом.

Они под крышей
не ищут теплое жилье
и рук хозяину
не лижут,
храня достоинство свое.

В дороге

Ночь черна, как деготь,
а мороз, что нож;
вздумаешь потрогать —
сердце обожжешь!
А зачем мне это
да в краю глухом,
если столько света
от любимой в нем.
Выюга свистом дюжит...
Но меня в снегах
бережет от стужи
рыжая яга.
Мы на нартах едем:
я и верный друг;
он — лицом на север,
я — лицом на юг.
Шутит он со мною:
— Жисть — она чудна,
вроде бы нас двое,
а спина одна...
Мы, плотней друг к другу
братски прислонясь,
с севера до юга
держим крепко связь.
Обуздай-ка, ночка,
белый непокой...
Едет в тундре почта,
мчится на Унгой.
Распластавшись, тени
сходятся с моей...
В куржаке олени —
искры из ноздрей.
И сидит мой Дарта,
молчалив и строг,

на летучих нартах,
как мансийский бог!
А пурга не сносит
дерзости такой,
и со злости оземь
бьется головой.
Заприметив справа
сполохи огней,
почтальон лукаво
обращался к ней:
— Как ты не устанешь!
Столько тысяч лет
в тундре, как в лохани,
моешь белый свет...
Засияло утро,
растворилась мгла...
И осталась тундра
вся белым-бела.
...И с улыбкой счастья
на семи ветрах
дремлет лучший мастер
с весточкой в руках.
Как расстаться — где там! —
с дорогим письмом,
если столько света
от любимой в нем.

Мама

В последний раз догадки не рассеяв,
не сбитый с толку вьюжною зимой,
я из твоих глухих просторов, Север,
как никогда — спешил к себе домой.

Была нелегкой долгая дорога,
но удержать и буря б не смогла, —
добрался я до отчего порога...

А мамы нет...

А мама умерла!

Вмиг подступило горе к горлу комом,
и милый дом мне как-то оттого
вдруг сразу стал совсем не милым домом
с огромным миром детства моего.

В нем жили сказки с вечным Сивкой вещим,
но в тишине, безмолвие храня,
поглядывали сумрачные вещи
с тяжелой укоризной на меня.

Приник я к шали с мыслями о маме,
и тут же стало памяти светло...
Я ощущал сыновьими губами
ее неуходящее тепло.

Она сынка попотчевать умела;
блины такие вкусные пекла,
что мне опять румяных захотелось...
А мамы нет...

А мама умерла!

В родном дому меня никто не встретит.
За все отгрохотавшие года

я в первый раз на этом белом свете
к своей любимой маме опоздал.

И лишь теперь заметил я: она же
за весь тот век, что доблестно прошла,
не то что на курортах там, а даже
и в доме отдыха-то не была.

Не так-то просто сердце успокоить...
А потому, что часто и во сне
не загодя проснувшаяся совесть
поныне не дает покоя мне.

И в мамин день счастливого рожденья,
в январский день — двадцатого числа,
я у нее бы вымолил прощенья...
А мамы нет...

А мама умерла!

Родине

Быть любимым тобою не просто...

У моих одногодков в ногах

ветры путаются

и коростой

ржа болот

запеклась на губах.

Ими клад в Чандо-Лазе опознан —

ничего недоступного нет...

И садятся знаменiem

звезды

в их еще

не остынувший след.

И навечно,

ничем не смываем,

у возможных смертей

в трех шагах,

снег, в мгновение ока

вскипая,

застывает

в их буйных чубах.

Каждый шаг я их мерою

мерил,

и в пути необжитом еще

сам себя я на верность

проверил,

им в беде

подставляя плечо.

О Россия,

из хляби болотной

выносил я

немыслимый груз:

всем, что светится

честной работой,

я с твоими сынами
делюсь.

Пять путей прохожу
буреломом,
а, доверясь звериной тропе,
из мансийских земель —
по шестому
я всегда
возвращаюсь к тебе.

Сердцебиение





Ода горе Высокой

И. Г. Ваулину

Скажите, друзья,
 вы когда-нибудь были
в промышленном городе
 Нижнем Тагиле?
Как хочется мне,
 чтобы вы побывали:
в нем издавна варят
 крепчайшие стали
мои земляки,
 говорят о которых:
— Вот эти и вправду
 ворочают горы! —
Стояла Высокая —
нету Высокой
горы у Тагила...
 Слыхали про то, как
ее металлурги
 в печах растопили?!
И скажете вы,
 что про гору забыли!..
Мой город прославленный,
 город металла
грузил на платформы ее...
 И с Урала
в ночи уносились
 на запад составы...
Ложилась она
под огнем переправы
на Одере мутном
гремящим понтоном,
и в бой уходили
 по ней батальоны.
А где-то в тревожной

Плавка

Клокочет плавка
в огненной печи
и в пляске так бурунится
тревожно,
что в потесненной заревом
ночи
к ней даже
 подступиться невозможно.
Но человечья торжествует
власть!
Металл, как магма, вздыбившись,
бушует,
и чудится —
 мартену кто-то
в пасть
однажды сунул
 сопку Ключевскую. .

Весна на Урале

Уже пора,
уже идет апрель,
а на дворе —

опять похолодало:

то и гляди —

взбуранится метель!

А где ж весна?

Куда же подевалась?..

А утром встали —

стаивает снег...

Она спешит и чувствует неловкость,
как будто бы по собственной вине
подзадержалась чуть в командировке...

Ручьи раскрепостила...

А сама

следила — как, прихватывая стылость,
в далекий путь

отправилась зима,

и ничего ей вслед не говорила.

А до того как выплеснет трава,

она сережки одевала вербам

и выпускала птиц из рукава

в еще не отогревшееся небо.

С ее приходом,

радости не скрыв,

во всем своем величии и силе

светились корабельные боры

и хлеборобы солнечно светились.

И кедр, что обломали шишкари,

она, обрадовавшись

новой встрече,

**одела в шаль
из золота зари
и обнимала**

милого за плечи.

Плывет заря

Теснилась тишь
к рассветной стороне,
земля была
 почти неразличима,
когда туман
плотнее жался к ней,
ничем не отличавшийся от дыма.
И ничего, казалось, больше нет...
Улавливался лишь цветочный запах...
В Курилах народившийся
рассвет
с хребтов Урала
 двигался на запад.

Гасил он потускневшие огни...
И вроде бы совсем из ниоткуда
в моем рабочем городе возник
не всякий раз
 сбывающимся чудом.
Он добирался к нам издалека,
купавшийся в шарташской дымке серой,
и от студенческого городка
добрел до Исторического сквера.
Потом, от дальних странствий чуть остыв,
не сдерживая собственной остротки,
на воду,
 на деревья,
на мосты
он разбросал
 негаснувшие краски.
И сразу стало городу светло,
а потому, что тихо и степенно
неуходящим пламенем
влилось

в рассвет живое зарево мартенов.

Он дальше шел,
расталкивая тьму,
а может стать,

над Камою-рекою

луна прильнула
ласково к нему
своей порозовевшей щекою.

Ну, а земля —
рассветом так светла!

Она — уйдешь тут от сравнений разве,—
как женщина
нарядною была,
спешащая к любимому на праздник.

Город — дом родной

Смолкает наработавшийся город.
В течение отхлынувшего дня
он, ни на миг не убавляя скорость,
входил без сожаления в меня.
И помогал мне снять с себя усталость.
Когда же я

 прощался с проходной,
соловушкину песню
выпускал он,
и та кружилась долго надо мной.
И замирали ветры у Исти,
и город мой, прислушиваясь,
сам,
забыв про все

 на этом белом свете,
внимал се томящим голосам.
Хоть песенный мотив
плутал в просторах,
но все равно

 из дальности самой
навечно в полюбившийся свой город
он возвращался,
будто бы домой.
И вроде б ничего
не нарушалось,
а становилось все-таки светлей...
Неуходящей песней
согревал он
на совесть поработавших людей.
В любом труде
любую половину
мне отдает тепла он своего...

Я никогда
теперь уж
не покину
и не оставлю, милого, его.
Да от него куда теперь мне
деться
да усзжать куда-то далеко,
когда в нем пошатнувшемся
сердцу —
как никогда —
уютно и легко.

Монтажник

По столбу с упрямством строгим
лезет он к самим богам,
металлические ноги
прикрепив к своим ногам.
Высоко забрался Леша,
но пока еще не та
для монтажника, похоже,
наступила высота...
И его возносит сила...
И, придерживая тьму,
отдаленные светила
приближаются к нему.
Отведя чуток на роздых,
на плечах держа покой,
дозревающие звезды
Леша трогает рукой.
А луна, видать со страха,
села в облако, как в дым,
неуклюжей росомарой
и бормочет перед ним:
— Ты зачем к светилам лезешь
да гремишь железом так,
будто коваль на железе
сдуру пробует кулак...
И глаза его лучатся:
— Я не лазал бы сюда,
только кто-то больно часто
замыкает провода!..
Я бы в эту пору где-то
отдыхать спокойно мог,
но не может жить без света
мой рабочий городок.

Высоко, почти не виден...
Он стирает пот со лба
рукавом тельняшки, сидя
на макушечке столба.
И поет, такой счастливый!
И пытается опять
звезды белого налива
с неба темного достать.

Новый день

Уходит ночь косматая на отдых...
И зайчики у проходной моей,
купаясь в тихой
гавани восхода,
сметают свет
с поблеклых фонарей.

Вдыхая воздух
сладковато-пряный,
ворочаясь в синеющей дали,
никак не могут
серые туманы,
отяжелев,
подняться от земли.

А день встает улыбчивым рассветом;
уже его наполнив до краев,
потoki нескончаемого света
вселяются
в земное бытие.

Плывет заря,
вливаясь в зори домен,
за горы оттеснив собою тьму...
И новый день,
космически огромен,
себя вверяет
сердцу моему.

Уральское лето

На закате

уральское лето,
звездопады сжигают листву...

Говорят,

что я скоро уеду,
ну, а я все живу

и живу.

Вдалеке от столиц знаменитых,
в стороне

от центральных дорог
приютился

навечно обжитый,
полюбившийся мне
городок.

Прикипел к нему накрепко
сердцем,
и его

он заполнил собой,
как ковши в благодатских разрезах
заполняют

железной рудой.

И теперь —

под задымленным сводом —
с городком,
что успел полюбить,
никакие

грядущие годы,
не пытайтесь меня
разлучить.

По душе мне пришелся,
и разом
понял я нескгибаемый дух
и его торжествующий разум,

озаренный

деянием рук.

И к нему —

за счастливые вести —

благосклонна

гора Благодать.

Зачинаются

новые песни...

И не хочется мне

уезжать.

Пожелай мне удачи

Дома побыл я немного,
и опять, не зная сна,
пирожки печет в дорогу
мне любимая жена.

— И чего ты с самой ночи
там колдуешь у огня, —
говорю я, — или хочешь
отвязаться от меня?..

Натолкаешь всякой снеди
столько, сколько в доме есть,
что потом идешь и едешь
и никак не можешь съесть.

А она всего и скажет,
чуть щекой припав к щеке:

— Уместила я поклажу
так, как надо, в рюкзаке.

— Хорошо, — шучу я, — понял.

Если вздумаешь грустить,
голос мой в магнитофоне,
будет с кем поговорить.

И хвалю вовсю и даже,
точно канув в забытие,
все фонарики разглажу
я на платице ее.

Обойму, и сердце дрогнет,
чем тут только не рискнешь:
а дороги — ну их к богу,
всех дорог не обойдешь!..

Только как — да кто ответит —
быть мне с верною женой,
если есть еще на свете
неопознанное мной.

Я кладу ей руку в руку,
говорю опять о том,
что и эту мы разлуку
как-нибудь переживем.
Я росинка прикасаюсь;
тронул робко их — и нет...
И слезиночка, бывает,
заслоняет целый свет.
Беды — мимо, грусти — мимо,
не печаль себя, а пой...
Все любимые к любимым
возвращаются домой.
Над сибирскою рекою,
восходя на перевоз,
машет женщина рукою,
не выказывая слез.
Стань удачливой, дорога,
дай мне дюжее весло,
чтоб на сердце хоть немного
у родимой отлегло.
Только я и сам не знаю,
трудно волны ворошу —
от нее ли уплываю,
то ли снова к ней спешу...
И прости меня велико,
если все же от забот
где-то новая морщинка
на лице твоём взойдет...
Я в дороге, за Сургутом
у костра дремлю, и мне —
сам не знаю — почему-то
чудо видится во сне:
мы стоим в дали далекой,
не в гористой тесноте,
а на самой на высокой
нами взятой высоте.

Ожидание

Спешу домой с вокзала я
и вижу —
как город заселяющая тьма
цепляется за конусные
крыши
и одевает

в черное дома.

Безбрежной безмятежностью
нахлынув,
она в напластовавшейся дали
заглаживает
мудрые морщины
на славу

поработавшей земли.

Безмолвно растекается все шире
и входит так в людское бытие,
что кажется, во всем
подлунном мире
нет ничего

значительней ее.

Она лежит огромною пустыней,
и в городе мерцающем она
сгущается медлительно
и стынет
в преддверье ожидаемого сна.
Свежеющим уютом тянет с улиц,
наполнившихся чуткой тишиной...
И в городе, как видно,
все уснули,
не спится только

женщине одной.

Глядит в окно и молча
в мире зыбком

отыскивает милого во мгле...
Да бережет счастливую улыбку
для самого
родного на земле.

Петровна

Она ни в чем других не ущемляла,
когда — надеждой доброю светла —
у пустыря клочок отвоевала
и садиком цветочным нарекла.

Домой придет — и ломит поясницу,
и разогнуть спину не вмоготу...
А лишь заснет — ей будущее снится
в еще не обихоженном саду.

Соседка шутит: — Где твоя усталость? —
А ей Петровна, полная забот:
— Она, должно быть, в комнате осталась...
Да не горюйте — к вечеру придет.

Питомцев всех приветит и отметит,
а иногда им песенку споет,
как будто не цветы они, а дети
ничем не заменимые ее.

И гладиолус выпускает перья,
спешит, сияя бархатным огнем,
взглянуть и поклониться самым первым
тому, кто так заботится о нем.

А вслед—красавцы—гордые пионы,
как бы любуясь выправкой своей,
пораскрывали жаркие бутоны,
и вроде стало в садике теплей!

Соседи изумляются любовно:
— Цветов-то повидали мы, никак...

**А вот таких, какие у Петровны,
еще нигде не видели пока.**

**Она сама того не замечает —
какой счастливой радостью живет;
хотя в цветах своих души не чает,
но ни с кого копейки не берет.**

**Ты, уходя, беспомощно ей скажешь,
не знающий, ответить даже чем, —
совсем невыразительные фразы,
слова неподходящие совсем.**

**Спасибо ей! Пусть счастья не убудет,
хотя она, возвращенную в сад
за просто так раздаривает людям
свою и красоту и доброту.**

Мир земли
и велик и вечен,
и в сыновней к нему
любви
огорчаться бы вроде нечем...
Отстоял его —
и живи.
Да, дивись всем людским удачам,
с ними шествуя по стране...
Только горько березка
плачет,
обращаясь с бедой ко мне...
Все не верится ей:
и надо ж —
убаюкалась тишиной...
А проснулась,
и нету рядом
с нею родственниц
ни одной!..
Чья-то яростно
темной ночью
поработала здесь рука...
И остался земли
кусочек
без зеленого островка.
И кому это стало тесно,
не поладила рощица с кем?..
Опустевшее стынет место
в неухоженном городке.
На заре,
не устав кружиться,
все искали свой дом

и бог весть —
как кричали, рыдали
птицы
и не знали,
где им присесть!..

Неотделимость

Я дней не помню
нелюбимых...

Они

дыханием своим
от сердца
так неотделимы,

как я от них
неотделим.

И, окрыляясь их крылами,
всегда —

будь солнце иль гроза —
глядел я
честными глазами
в их

откровенные глаза.
Бывало в жизни
нелегко мне,
но, не страшась
любых тревог,

они

с любовью будут
помнить
моих ладоней
солнцепек.

Я каждый шаг их
песней метил
и возвышал своим трудом...
чтобы не стыдно было
детям
за песню,
спетую отцом.

Отчизне

Сердце светится думой высокой,
и, верша полюбившийся труд,
из твоих неизбывных
истоков
я все новые силы беру.

У металла,
у солнечной летки,
истекающей жаром крутым,
я свои

добываю
высотки,
поднимаясь

к высотам твоим.
Озаренный дыханием плавок,
как улыбками добрых людей,
не гонюсь я
за громкою славой,
мне достаточно

славы твоей.
С окрыленностью справиться разве,
если в каждом свечении дня
изо всех моих праздников
праздник —
это то, что ты

есть у меня!
В нем, победам земным салютуя,
где на вечные веки,
не враз,
отразилось все то, чем живу я,
чем до звезд
возвышала ты нас.
И во мне осеняющим
светом,

полыхаемым взлетом ракет,
 остается незыблемым
 следом
 твой ведущий
 в бессмертие след.
 Поступал я —
 как совесть велела
 в торжествующей песне труда;
 и пускай хоть не много
 я сделал,
 но с любовью к тебе...
 И всегда
 приходил я к единственной мысли,
 вдохновленный твоею судьбой:
 если будешь
 счастливой ты в жизни,
 то и мне быть
 таким же с тобой.

Сердцебиение

Настоян вечер земляникой,
созрели звезды
в синеве,
и лишь кузнечик
тихо-тихо
шуршит,
запутавшись в траве.
И все вокруг
покоем дышит.
И все-таки
земля поет...
Прильни к ней
сердцем —
и услышишь
сердцебиение ее.

Светозорье





Утро

Синева, окрасив плечи
кряжу нежным ободком,
воду пьет из теплой речки,
как парное молоко.
В кедрачовой гуще веток,
испускающих смолу,
принялся таежный лекарь
барабанить по стволу.
А в урмане Таватуя
работающая пчела,
цвет душистых лип учуя,
свой моторчик завела.
Робко фыркнув на берлогу,
перепрыгнул ручеек
и отправился в дорогу
молодой бурундучок.
Лишь стрекозы под крушиной,
модно крылышки сложив,
в желтых блюдечках кувшинок
благоденствуют в тиши.
Бледный луч на небосклоне,
оставаясь далеко,
вниз глядит из-под ладоней
сизо-пегих облаков.
И, зарю опережая,
словно выводок жар-птиц,
звезды спелые слетают
у геологов с ресниц.

Светозорье

Я подосиновики в шляпках
беру с накрапинками рос,
а елочки
лохматой лапкой
моих касаются волос.
И тишь,
скопившаяся за день,
качнулась чуть,
и ветерок
залепетал...
Чего бы ради,
вспорхнув почти что из-под ног.
И полетел...
И дух сосновый
понес туда, где у реки,
равняясь на правофланговых,
торопко двигались дубки.
А рядом, видно,
путь опасен,
жучишка, синего синей,
висел, не опускаясь наземь,
как будто места
нет на ней.
Но был в соблазне он великом,
лесную ягоду-то знал...
В траве краснела
земляника,
пахуче плавилась она...
И стряхивал сырую пошу
дубок, дождевики накопя,
как воду
стряхивает лошадь
после купания с себя.

Доброта

Нине Золотых

В каком это памятном веке,
в его золотом далеке,
до дрожи пугливые белки
сидели на чьей-то руке.

Сидит на ладони улыбка,
и ей улыбаешься ты.
Как видите — стало с избытком
в России у нас доброты.

Но белки, не сразу поверив,
кружили вдали, а потом
вошли к нам в открытые двери,
как входят к товарищу в дом.

Забыв ощущение риска,
они — и уже навсегда —
живут с постоянной пропиской,
пришедшие к нам в города.

Увижу почти под окном я
огнисто-пушистую прыть,
и снова уводит из дома
желание — с ними побыть.

У пихты под крышей бельчонок,
не дрогнув роскошным хвостом,
орешек грызет утонченно,
должно быть забыв обо всем.

А шустрая белка, как к другу,
с надеждой ко мне подошла;

сначала обнюхала руку,
а после добычу взяла.

Взлетела, уселась... Люблю я,
когда, не тревожась ничем,
она, как дитя, торжествуя,
сидит у меня на плече.

Побудешь с такой, поворкуешь,
и в гнев не срывается речь,
как будто ты ношу какую
свалил с натрудившихся плеч.

Душевной живешь тишиною,
и дома, в преддверии сна,
ты ласковой станешь с женою,
и станет добрее жена...

Но что там тоскующе вроде
не прыгает в ветках — летит
и места себе не находит,
и, как соловьинок, свистит.

Все ищет кого-то и даже
до самой калитки идет,
и хвостиком рыженьким машет,
и ушками бойко прядет...

То в жарком цветении лета,
любовь человека цenia,
красавица русского леса
к себе приглашает меня.

В Петрокаменске

Поют на пригорке
березки-царевны,
кузнечики бойки,
и травы сочны...
Идти б, ветерком
освежаясь напевным,
но только как будто бы
из тишины
к нам дождь
из-за гор Петрокаменных
вышел
и, окунувшись
в хмельное тепло,
как дятел, постукал
по клавишам крыши
и, словно хозяин,
пошел за село.

Соловьиное

Шуре Исаевой

К чему-то важному готовясь,
в одежке серенькой своей
сидит, осваиваясь в нови
берез взгрустнувших, соловей.

Сперва две ноты он примерил,
держа меж ними третьей связь,
поскольку сам еще не верил,
насколько песня удалась.

«Чьфу-чьфу...» — как в трубочку подул он,
засвиристел в лесу густом,
и песня медленно всплеснула
почти окрепнувшим крылом.

Потом, лишь с родичами б спеться,
солист, других опередив,
вводил все новые коленца
в ее чарующий мотив.

Венчалось трепетное пенье
с раздольем света и полей...
И замер я в оцепененье,
светло прислушиваясь к ней.

Отогревая песней душу,
не то чтоб чуточку побыл, —
а век стоял бы здесь и слушал,
и никуда б не уходил...

Не стороня зеленых шумов,
о том гремели соловьи,

**что песню новую придумал
певец талантливой семьи.**

**Ее качали луговины,
баюкал упоенный лес...
Уж чьим другим, а соловьиным —
быть вечно модным на земле.**

**Как жаль, что сердцу эту песню
не повторить и не обнять...
Да у нее начало есть ли?
А уж конца и не видать!**

Луговина, луговина

И. Д. Кириченко

Золотая луговина,
как же пахнешь ты вином!
Иль настаивают вина
на дыхании твоём?

В удивительной природе
как не быть тебе хмельной,
если медами исходишь,
убаюкивая зной.

По некошеным откосам
от настоянности мят
фиолетовые росы
винным запахом томят...

Мурашок ползет куда-то
во владении твоём,
стебельком почти распятый,
еле держится на нём.

И качаются ромашки,
а у них на лепестках
безобидные букашки
виснут будто на лучах.

Рядом птахи, луговина,
песню спевшие свою,
из застенчивых кувшинок,
не раздумывая, пьют.

В травах блики, точно звезды,
свежесть хлебная с полей...

Терпкой мятой пахнет воздух —
сколько хочешь — столько пей!

Где еще ты встретишь это!
Так уж тут заведено:
пьют бесплатное все лето
луговинное вино.

Обходя канавки выем,
у извилистых запруд
колокольцы голубые
гостю рюмочки несут.

А во рту такая сладость
и такой прохладный вкус,
словно пышет где-то рядом
расколовшийся арбуз...

Захмелел я... И впервые
от прилива добрых чувств
вовсе речи никакие
говорить я не хочу.

Мир в глазах — две половины...
Голова — пчелиный рой...
Дорогая луговина,
что ты сделала со мной!

Мое село

Сестре Валентине

Я не между прочим,
а как быть должно,
в городе рабочем
обжился давно.
Только в дальней сини,
где душе светло,
есть в тебе, Россия,
и мое село.
От тропинок детства,
что остались в нем,
никуда не деться
в возрасте любом...
Уж собрался вроде б,
но работа — вдруг...
И опять, выходит,
ехать — недосуг.
Соберусь, поеду,
и поступок мой
маленькой победой
станет над собой.
От лугов хмелея,
в знойный медонос
припаду к земле я,
не жалея слез...
И ее раздолье,
сколько хватит рук,
до счастливой боли
обойму вокруг.
Буду, замирая,
слушать, как в крови
силы прибывают
от ее любви.

Буду жить по праву
думою одной:
выше всякой славы
мир земли родной.
В тишине высокой
роздыми полей
я услышу клекот
милых журавлей...
Еду, еду... Снится...
В дальней стороне
над селом зарницы
салютуют мне.
Близко ли, далеко ль —
тянешься к нему
ты с душою легкой...
Ну, а почему
сила в нем такая...
Как ответить вам,
если я не знаю
этого и сам.

Вечернее

Захмелевшая от зноя,
пропитавшись духом дынь,
в час вечернего покоя
по селу плывет теплынь.
В небо высыпали звезды...
И, в кружении легко
переваливаясь, воздух
пахнет вкусно молоком.
У дворов седые деды,
не теряя с миром связь,
завели свои беседы,
на лавчонках примостясь.
Кличут им хозяйки строго:
— Не мешайте сладким снам... —
Но никак зазвать не могут
говорливых по домам.
Бьется лбом горячим оземь,
к нам докатываясь, гром...
Шебаршит на перевозе
кто-то кованым ведром.
Зычно всхлипывают совы...
Загудели комары...
Глухо щелкают засовы —
закрываются дворы.
Берег охает от звуков...
То от нас невядалеке,
перед сном, должно быть, щука
бултыхается в реке.
Лишь, остывшая от зноя,
пропитавшись духом дынь,
никого не беспокоя,
по селу плывет теплынь.

Дёма

Признаюсь тебе я,
речка Дёма,
что с тобой у памятной излуки
чувствую себя
всегда как дома
после долго
длившейся разлуки.

Голубясь чешуйчатым отливом,
ты, как мне,
в проснувшееся утро
томно наклоняющимся ивам
моешь, серебра,
густые кудри.

Где трава от бликов стала пегой,
в воду с крутояра,
а не с вышки
солнечные зайчики
с разбега
прыгают,
как храбрые мальчишки.

Ветерок коснется сонной сини,
побегут мурашки
цвета мари,
будто кто-то дробью бекасиной
по твоей поверхности ударил...

Подобрав мотив себе хороший,
песни соловьиные о лете
сочинишь,

на музыку положишь,
а потом мне начинаешь
петь их.

Песни, душу трогая до боли,
нежно сокровенного
коснутся...
И тогда страшусь я
одного лишь —
неужель возьмут
да оборвутся.

Другу

Вазиху Исхакову

Смывая зной, сшибая жар,
прохлагою звеня,
купаю в речке Яладар
я рыжего коня.

Уткнувшись мордой в синеву,
плывет мой умный друг,
и я, сияющий, плыву,
не применяя рук...

Лишь приспускаю, повода
держу одной рукой,
где речки маленькой вода
мне видится рекой.

Она свежа, она густа,
все жметя к нам плотней
и вьет колечки вдоль хвоста
плывущего по ней.

Ладонью в воду... И от брызг,
как сполохом огня,
спина лоснится, точно плис,
у моего коня.

А шея, чутко-горяча,
устремлена вперед:
казалось, из воды торча, —
сама себя несет...

Слетают с берега слова:
— Да как так по воде
плывет одна лишь голова,
а конь твой резвый где?

Шучу я, сидя на коне,
в воде и над водой:
— Он голову оставил мне,
а сам пошел домой...

И звуков катится гора
ко мне в оправе всей...
Хохочет шумно детвора,
и гул — вовсю над ней...
А конь стоит, как всякий раз,
готовый ко всему...
И сколько было светлых глаз,
тянулись все к нему.
Лучи сверкают на спине,
и зной с нее течет,
то солнце блещет на коне,
себя не узнает.
И дышит русская земля
в него, как в торжество,
ни в чем, нигде не умаля
достоинства его.
Во все былые времена,
как божеством каким,
с великой нежностью она
всегда гордилась им.
И я спасения молю,
мой конь, судьбе твоей...
Люблю тебя... И не люблю
бензиновых коней.

* * *

Я отлучусь от шумной суеты
туда, где постепенно,
а не разом
из дымки появляются хребты
и выпускают ветры из-за пазух.
А в луговинной пойме тишина:
я слушаю,
как у ее откосов
кипрейник, захмелевший допьяна,
ликуя, набухает медоносом.
На теплых ветках плавится заря,
разнежившись под тиховойной синью,
где перышко
лесного сизаря
упало на дрожащий подосинник.
И солнц в зеленом мареве снопы,
уткнувшись
в розовеющий шиповник,
помогут пусть
надолго позабыть
все то, что и не хочется
мне помнить.

Я люблю

Над твоей поляной, над тобою,
облаком светящимся повиснув,
медвянеют спелостью настои,
луговым пропахшие анисом.
Не смолкает птичье свиристенье...
Опадая с загустевших веток,
в перебежках дымчатые тени
мельтешат в ногах у бересклетов.
А внизу, в черемуховой пади,
у бровей кедровых под навесом
дерева простукивает дятел —
хлопотун задумчивого леса.
Где пыльца цветочная зарделась...
золотила воздух и слетала
на твою святую загорелость,
чтобы ты еще красивей стала.
Лишь тебя б увидеть, упоенно
подготовив дарственные речи,
в праздничных нарядах черноклены
подошли к цветистому заречью.
Им влюбленно ты шептала снова:
— Если б только это можно было,
никогда из царства бы такого
никуда бы я не уходила. —
И, спеша из затаенной чащи,
будто бы узнав — чего ты хочешь,
прибежал, от радости звенящий,
и запел о лете колокольчик.
Я люблю, когда — всегда б так было, —
все заботы в городе оставив,
наливаешься ты новой силой
в захмелевшем зное златотравья.

**И когда ты, млея, сладко дремлешь
и меня целуешь нежно в губы,
я люблю еще сильнее землю
оттого, что ты ее так любишь.**

**Идущая в самый зенит,
гроза накалилась, и воздух
сшибает, как яблоки, звезды,
с шипеньем летящие вниз.**

**Казалось, что, гнев накопя,
созвездия дальние сами
своими же Гончими Псами
безжалостно травят себя.**

**В орбиту сражений входя,
небесные силы бурлили,
а землю опять позабыли,
оставив без капли дождя.**

Дума

Все чаще дума
душу беспокоит,
что в суете

невозвратимых лет
чего-то не открыл ты,
не достроил,
не досказал

чего-то на земле.

И все твои
сомнения, похоже,
по недоступной разуму тропе,
чем больше ты
на этом свете прожил,
тем чаще
возвращаются к тебе;



Всему во всем
 свое приходит время,
и в мире появления его
порою ты и радость,
точно бремя,
несешь и сам
 не знаешь для чего.
Да вроде б сил полно в тебе,
и все же
с каким бы ты
 усердьем ни хотел
все повторить,
и все-таки не сможешь
уже взойти
 к желанной высоте.
И грусть ложится на сердце,
не тает,
с тобою оставаясь навсегда...
Да что гадать —
 тут истина простая:
уже не те
 завидные года.
И как бы ни судили там,
а осень,
плутая в загустевшей седине,
чем дальше —
 больше горечи
приносит
и оседает
 тяжестью во мне.

*** * ***

**...И рухнул клен, теряя силы,
под грузом горя своего...
И стала менее красивой
земля родная без него.**

**И на тебя, в листве багровой
величия теряя вид,
он с осуждением, сурово,
непререкаемо глядит...**

Воробьишки

По городам живут,
не зная ласки,
почти что с незапамятных веков,
и что-то есть
в их серенькой окраске
от серого окраса городов.
Порою судим их мы
строго слишком,
доверясь необдуманным словам:
да так себе —

не птица...

воробьишки...
Забыв об их привязанности к нам.
А улети они,
и грустно стало б,
не то чтоб им

совсем в краях чужих,
а нам самим чего-то б
не хватало
в общении с природою без них.
Никто не даст мне
точного ответа,
что́ стоит в жизни
большого труда:
перелететь однажды континенты
иль пережить в России холода!..
Когда туманы зачехляли дали
и выпадал на землю первый снег,
всех птиц, что улетали,
забывали...

А уж к теплу поближе,
по весне

дивились их расцветкой,
голосами,
ловили взглядом в ясной высоте...
А тех, что неизменно
были с нами,
никто и замечать-то
не хотел.

Подснежники

*Светлой памяти
Родиона Гавриловича Куркина*

Стоят сосеночки, как свечи...
И в прояснившейся дали
у бугорков дымятся плечи
от сизой испари земли.
В сережках белые березки...
Иду, и вот у самых ног
совсем, как водится, не броско
апрельский вспыхнул огонек.
Под мягким маревом поляны
с улыбкой в крылышках резных
он появился первым самым
среди сородичей своих.
Купается он в нежной сини,
из цвета желтенького весь...
Да на земле моей России
и не такие — лучше есть!
Казалось — что в нем есть такого:
растет весенний не спеша,
а встретишь в рощице,
и снова
теплее
русская душа.

Бессмертники





Красный флаг

Грозу,
 что приходит не с неба...
Да просто
 в походной судьбе
себя без воды
и без хлеба
могу я
 представить себе;
солдата,
 не знавшего тягот;
без песен
 глухую тайгу...
Россию ж
 без красного флага
представить
никак не могу.

*** * ***

Я на войне

**под гул раскатов,
еще безусым,
молодым,
пройдя**

**нелегкий путь солдата,
стал преждевременно
седым.**

**Кого винить мне в том,
Россия,
когда пылала ты в огне...**

**И разве мог
по долгу сына
я оставаться в стороне —
от слез твоих,**

**тревог,
 рассветов,
в себя впитавших
 кровь и дым, —**

**а после
прикрываться где-то
высоким**

**именем твоим!
И горд я тем, что там,
где было
с избытком горя и смертей,
Россия,
ты не усомнилась
в сыновней верности моей.**

Мы у Отечества учились

...И снова боль,
и раны ноют...
О люди мира,
верьте нам,
уж мы-то знаем,
что такое —
Победа
с пеплом пополам.
Не все солдаты
возвратились,
но не сломила нас
гроза...
Мы у Отечества
учились
глядеть бессмертию в глаза.

Бессмертники

Памяти брата Бориса

В степях российских,
на привале,
былое в памяти ловлю:
в Москве
 мимозы продавали,
а я
 бессмертники люблю.
Поныне там,
 где клубы дыма
вздыхались
 натиском брони,
в моих глазах
непобедимо
встают,
 как воины,
 они.
Они в шрапнельном
пекле боя
стояли насмерть...
И в степях
умели жертвовать
собою,
не беспокоясь за себя.
Навылет пули их
пронзали
и бомбами косила высь...
Их даже танки
подминали, —
они и танкам
 не сдались!

Высота

Едва проснется память...

и тогда я,

как самый верный

подданный ее,

уже вхожу,

спокойным быть пытаюсь,

В ДАВНЫМ-ДАВНО

минувшее свое.

Гора, гора!..

С кипящим пеплом дыма,

с людской бедой

на огненном пути

В МОИХ ГЛАЗАХ

НИЧЕМ НЕЗАСЛОНИМА...

Истории ее не обойти.

В нее мы столько

вбухали металла,

что и сама она

железной стала!

Порою сам себе

не веришь ты:

каким же чудом

ты, солдат пехоты,

вернулся с той

великой высоты,

перед которой

меркнут

ВСЕ ВЫСОТЫ.

Солдату

Его

пока обходит слава...

Но если — бой,

и он — герой!..

Тем и сильна

моя держава,

что каждый воин

в ней такой.

Волочаевка

Где тишины смывает грани
амурских волн
 крутой накат,
на высоте
Июнь-Корани
стоит с винтовкою
 солдат.

И чудится:
 отбив когда-то
у интервентов
 высоту,
ушли его
друзья-солдаты,
а он
 остался на посту.

О нем
 История доскажет...
Он власть Советов
защищал,
и победил,
 и встал на страже
всего,
 что сам
 завоевал.

Святая суть

Земля моя,
мне с каждым днем светлей...
Как незакатным пламенем
восхода,
я величавой
 славою твоей
свечусь, как ты —
с семнадцатого года.
К тебе тянусь,
и помыслы свои
с твоей мечтой
 сверяю каждый день я...
Быть может, в этом
вся и состоит
святая суть
 земного притяженья.

На страже

Мир пока не может
без солдата!

И солдат
всей жизнью молодой,
как за самую
 святую святость,
отвечает

 за его покой.

Он добыт
немыслимой ценою,
и его, чтоб в пепле
 не погас,

бережем мы так,
как перед боем
берегут в полку
 боезапас.

Степная сторона

Здесь от стараний стрекозиных
слегка позванивает зной
и золотые луговины
укропной пахнут тишиной.
И кажется, иссякнув силой, —
дай бог, что только на пока,
безропотно остановилась
моя работница-река.
А у подлеска корни-сохи
торчат — свидетели стволов...
И всхлипы сов, как вдовьи вздохи,
ползут над ярусами слов...
Да возле яра вечевого,
на стыке памятных дорог,
хранитель быта кочевого —
в треноге медный котелок...
Под взмахом беркутовой тени,
собой заполнившие даль,
стоят задумчиво деревни
и не поймут свою печаль.
А далеко за перекатом
едва заметный пароход,
как бог языческий, куда-то,
волной подхваченный, плывет.
И горизонт, что занавеска,
над всей вселенною висит...
И пахнет степью половецкой,
как в день рождения Руси.

Тишина

Ощущаема

еле-еле,
как натянутая струна,
меж окутанных дымкой
елей
чуть колеблется
тишина.

И сочится

как мед на солнце...
А встревожь ее,
вся земля,
не раздумывая,
проснется
от глубинки
и до Кремля.

Mory...

**Я видел то,
всей правдою храним,
когда в атаку шел мой храбрый взвод,
что никогда теперь уже
другим,
должно быть, и во сне-то
не придет.**

Все то, что испытал я в жизни сам,
не поддается даже
и стихам...

**Но если снова хлынет,
как вода,
на мой рубеж**

закаянная беда —
как снег слепой
от ярости огня,
она, смутясь,

отхлынет от меня,
замрет, не совладав
сама с собой, —
она-то знает,
с кем вступает в бой!

Я не останусь у нее в долгу.

**А если надо будет,
так смогу**

согнуть ее в крученную дугу...

**А оказавшись у беды в кольце,
я вырвусь из него
любой ценой...**

**И лишь морщинки
на твоём лице
я не смогу**

разгладить ни одной!

России

Я, уставший в скитаньях дорожных,
по-сыновьи родное любя,
обнимаю пахучий горошек
и на миг забываю себя.

А открою глаза

и увижу:

словно не наяву,

а во сне —

как бегут колокольцы все ближе
с переливчатой трелью ко мне.

И, в росинках как будто бы плача,
у воспрявшей тростинки-лучка,
в умиление застыл

одуванчик

с серебристым пушком на щеках.

Словно звоном всюду заливаясь,

перекатываясь в тишине,

колокольчики —

песни Валдая,

очутились в его стороне.

И щемяще они, многоусто

у меня,

у любого ростка

пробуждали высокое чувство

ко всему,

чем земля велика.

С песней дали доступней казались,

потому, бросив пенье свое,

даже птицы

из гнезд вылетали,

чтобы только

послушать ее.

Не тесня обостренного слуха,

да не кто-то иной,

а она

добрым гением

русского духа

высветляла всю душу до дна.

В сердце трогала самую малость,

но, как силы людской

торжество,

все бывшее в тебе

пробуждала,

выводя на плацдармы его.

Не принизив славянскую удаль,

мне о том колокольцы поют,

чтоб берег я,

как вечное чудо,

неделимую землю свою.

Я России, как матери, внемлю:

разве можно, спасая себя,

отступиться...

Родимую землю

до пронзительной боли любя.

Как я смею безмолствовать, если

продолжаются в мире бои

и в сражения вводят,

как песни,

боевые резервы мои...

Не могу допустить я

и в мыслях,

верность красному флагу храня,

чтоб из первых рядов

коммунистов

потеснили б куда-то меня.

И живу без огляда и вздоха.

Не напрасно ж я, выстояв бой,

мировую Победу отгрохал

на последней

войне мировой.

Горислава

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА





Давным-давно,
почти невесть откуда,
порой теряясь в огненной дали,
все шла беда,
как будто шла остуда
к обыкновенной женщине земли.
Ползла, брела,
в пути голосовала,
садилась в кузов тряский,
а когда
сама себя уже
не узнавала,
ее везли в Россию поезда.
В конверте хоронясь,
не зная толком,
попала ли в почтовые места,
она и там —
хотя бы ненадолго —
повременить пыталась неспроста.
У почтальона в сумке
малой метой,
не обещая оставлять следа,
таилась
удаленная от света,
с полынно-горьким привкусом беда.
Потом, у дома
чуточку помешкав,
под чей-то еле уловимый вздох,
все не решалась,
осаждая спешку,
переступить неведомый порог.
И все-таки она,
в себе уверясь

и придержав волнение своё,
к жене солдата
постучала в двери
и поселилась
в комнате ее.

2.

Боль осмыслить нелегко,
как с ней сладить, если
подкатила к горлу ком
со слезами вместе.
Словно бы из-за угла,
тихо, еле слышно,
в сердце самое вошла
и уже не вышла.
Отступить, сойти б на нет...
А она ненастьем
не дорогу — белый свет
Гориславе застит.
Как с ней справиться одной!
Кажется в тревоге:
так качает шар земной,
что не держат ноги.
О плечо родное ей
опереться б впору —
только где он, Ерофей,
со своей опорой?!
Что ж, надеждою живи,
в возвращенье веря...
Несчастливым у любви
оказался берег...
Отошла его весна.
Будто встретить старость
ты на нем совсем одна
навсегда осталась.
Только ждешь ты, но уже

Не вернешь... выходит,
непогоду на душе
вряд ли распогодить!..
Все глаза себе прожгла
горечью потери.
Под тобой, как тень крыла,
затемнился берег.
И теперь он, погляди,
стал угрюм и труден;
как и сколько ни иди —
осыпаться будет.

3.

Утраты у России
велики..
Но всякий ли из нас,
живущих, знает,
что беды не бывают
коротки,
подчас одной —
на бабий век хватает.
У женщины —
я замечаю сам —
быть может, все
со временем вернется, —
улыбчивые ямочки лица
уже давно
не излучают солнца...
Уже и снег какой-то неземной
вital над ней раздумчиво,
а тронув,
отсеребрил
неровной сединой
ее волос
плетеную корону.

Восстановись,
величие красы!..

Ну а пока —
свидетельствует разум:
не сразу заживляются
рубцы
и боли

притупляются не сразу.

Высоким светом звезд
умудрена,
не ведая ни капли
погрешения,
сражаясь за любовь свою,
она
за самое себя

ведет сражение.

С дороги хмарь
отбрасывает прочь,
не быть пытаясь загодя уставшей, —
и пятится
нахлынувшая ночь
с ее души

несолоно хлебавши.

Не оттого ль звонит
в колокола
прикамский бор,
победу торжествуя...
И стала Гориславушка
светла,
сменив печаль

на песню заводскую.

А на висках
упруго жилки бьются.
И значит — новых сил
не занимать;
откуда ж они все-таки опять

у овдовевшей женщины
берутся?!

И пальцы огрубелые —
все десять, —
в стаканчики взрывателей нырнув,
сжимают и несут их,
будто взвесить
хотят перед отправкой
на войну...

А там, подальше,
в бронзовитых бликах,
в себе всю мощь взрывную затая,
металл с противотанковой начинкой
уже уходит
в дымные края...

Не просто ради жизни,
а во имя
того, чтобы
Отечество спасти,
она сумеет
пальцами своими
металла
тыщи тонн перенести.

И все же
в напряженности любой,
от человека
требующей воли,
что пальцев
наслоившаяся боль
в сравнении с ее
душевной болью!

...У проходной
толпятся тополя
да нерестятся капельки на лицах,
и благостная
русская земля

ей под ноги,
как солнышко, ложится.

4.

В пространстве вечеряющей поры,
как будто бы
из звездного лукошка,
с небес новорожденные миры
глядят в твое
открытое окошко.
Уж очень одинокие глаза!..
Они себя такими
и не помнят...
Передохнуть присела стрекоза
к тебе на полысевший подоконник.
И ты, не смея дух перевести,
глядишь, казалось
мысли все отбросив,
дыхание свое перехватив,
боясь спугнуть доверчивую гостью.
Да, может стать —
и так скорей всего, —
она, совсем не путая дорогу,
и прилетела
только для того,
чтоб ты смогла
забыться хоть немного.
И ты уже одна и не одна,
от ожидания неотделима,
сидишь в квадрате желтого окна,
прислушиваясь к свадьбам соловьиным.
А соловьи на ветках, на весу,
вовсю поют,
без всяких перебоев,

и травы, отряхнув с себя росу,
их пение
выслушивают стоя.
Певцы, должно быть,
павшего в бою
зовут, зовут
томительно и долго
в лесную филармонию свою —
в густую рощу —
пристань перещелков.
И, внемя заливающимся им,
щежит до боли
вспомнившее сердце:
давно ль они
влюбившимся двоим
вызывали тонкие коленца.
И ждешь, доверясь чувству своему,
ты возвращенья мужа,
Горислава...
Неужто есть к Ероше твоему
затерянная где-то переправа!..
За дверью вспыхнул чей-то полужвук...
И ты уже
сдержать себя не в силах:
бежишь настороженная...
а вдруг...
Но снова все по-прежнему, как было.
И виновато как-то вгорячах
ты поправляешь вроде бы устало
пригревшийся уютно
на плечах
еще аж довоенный полушалок.
...А клены в блестках темно-голубых,
в них свет небесный
исподволь клубится,
и звезд осколки

на листочках их
дрожат, как слезы
на твоих ресницах.
И смолкли соловьи...
Тому и быть
в рассвете надвигающихся буден...
Спит женщина,
не вздумайте будить,
не то она
еще печальней будет.

5.

Все верилось —
уже бессильна ранить,
беда, переходящая в покой,
над Гориславой сжалится
и станет
обычной человеческой тоской.
И все же, вне сомнений и сочувствий,
себя не заставляя
долго ждать,
она на миг какой-нибудь
отпустит
и тут же возвращается опять.
И вправду ль ей
случившегося мало?
Или еще, не завершив дела,
она вдове чего-то
не сказала...
того, что и сказать-то не могла.
...Уносят битвы
самых дорогих,
оставшихся навечно дорогими.
Погибшие живут
среди живых

и потому нам видятся
живыми.
Хоть никакие громы не слышны,
но у высот — которых
не забудешь, —
деревья молчаливы и грустны,
как у могил
примолкнувшие люди.
Пусть нет тревожной песни трубача,
но до сих пор,
почти что как и было —
твоя земля, Россия,
горяча!..
Она еще от горя
не остыла.
Его нигде не скрыть и не упрятать,
ему не затеряться и во мгле.
Уходят в землю
павшие солдаты,
а горе
остается на земле.

6.

Зла им вечно — как назло,
доставалось вдосталь...
Вырастали —
тяжело,
умирали —
просто...
В отчем доме
павших всех
на войне последней
размещал двадцатый век
по углам передним.
В лихолетье мы могли
горя больше встретить

на одной шестой земли,
чем на всей планете.
И слеза мутит глаза...
Глянь-ка, Горислава:
не твоя ль горит слеза
в опаленных травах!
Уж давно окончен бой,
только ты без счета
лст, летящих над тобой,
ждешь-пождешь кого-то...
Над глазами вскинь ладонь:
подвиг смертной сечи,
как священных мест огонь,
у народа вечен.
Спит солдат... Над ним трава
в безмятежной стыни...
Ерофеевы слова
помню и поныне:
«Битва б кончилась совсем,
и, Россию славя,
хорошо бы выжить всем...»
А потом добавил:
«Только что бы,
дорогой,
в этом страшном гуле
стало с русскою землей,
если б все
вернулись!»

7.

Мечтой вдову
не смею тешить,
и все ж
из вечности самой
идет он,
может, ходом пешим

и не дойдет никак
домой.
Иль, может, там,
 где битв раскаты,
он встал,
 закрыв дорогу тьме...
Ведь нету
 русскому солдату
на свете равного взамен.
Хотя давно прошли все сроки,
но ждет свидания с родным
его березка,
у дороги
в войну
 посаженная им.
И Гориславу —
 дочь России —
у рощи,
 слившись с тишиной,
она приветствует из сини
зеленокудрой крутизной.
Дорожка тянется к ней,
словно
к березке так ведут пути,
что Гориславе свет Петровне
ее вовек не обойти.
И снова все идет сначала,
обмолвка также все горька:
— Ну, как!
 Ерошу не встречала?..
И я
 не встретила пока... —
А из клубящихся видений,
косматясь облаком седым,
бредут поверья,
 точно тени,

как будто мертвые

к живым...

Не потому ль так долго

сходит

печаль

с любимой стороны,

что слишком много

не приходит,

не возвращается с войны.

...И снова в сумрачности вдовьей,

ночных стенаний не тая,

гуляет стужа в изголовье

огромным миром бытия.

8.

В сновиденьях Гориславы

копошится ветерок,

тот, что где-то под Варшавой

больно крылышки обжег.

Отдышаться бы от пыли,

лечь с дороги, но пока

у него еще дымились

опаленные бока.

Оттого и пел он снова:

«Знай — солдат, идущий в бой,—

от беды не застрахован

из воюющих любой.

Нелегко под гром орудий

оказаться под огнем...

Да что будет, то и будет!

Разберусь во всем потом».

Не забуду: в сорок третьем

в атакующих войсках

я солдата как-то встретил

с прибауткой на губах.

Кинет шутку для пехоты —
и, вздымая рыхлый снег,
храбрецов стрелковой роты
по земле катает смех...

Отхохочутся... И снова,
до последнего бойца,
упустить боятся слово,
точно райского птенца.

Байка бается в Европе,
Ерофей свое твердит:
«Лучше места, чем в окопе,
и в Европе не найти.

Только мне мила Россия!

Потому-то и в огне
на сомнения глухие
в чужеземной стороне
отвечал я что-то вроде:

«Да в России, братец мой,
без победы не приходят
сыновья ее домой».

Потому-то я с победой
в отчий край из-за границ
перво-наперво приеду,
а потом возьмусь за птиц.

Я вернусь, и ветер звонко
зорьку будущей весны
закачает, как ребенка,
на руках у тишины.

Я с отцовского порога
да с высокого крыльца
погрожу не слишком строго
всем районным сорванцам.

Не послушаются если,
грозно крикну на ходу:
«Из железных клеток песни
вызволять я к вам иду!»

Пусть им солнечно летится:
отпущу в лесной уют,
чтоб запели разом птицы,
те, что вовсе не поют.
И тогда дорожкой ровной
я, убавив в мире грусть,
с Гориславою Петровной
вдоль по Каменску пройду.
От людей не пряча радость,
я дарить ее не прочь:
может быть, кому-то надо
на земле еще помочь!»
А во сне — в его пределах —
отдохнувший от тревог,
ворковал в цветенье белом
Гориславе ветерок:
«Не спешу лететь отсюда,
чтобы лучше шли дела,
я еще чуток побуду
возле женского тепла.
Отдышусь, окрепну силой,
озарюсь в краю садов,
чтоб со мной повсюду было
вдовым женщинам светло».
У солдатки будто дома
был не гостем... И уже
он вошел в орбиту дремы
на мудреном вираже.
И о нем с улыбкой милой
в мыслях, верою полна,
как живому, говорила
Ерофеюшке жена:
«Мне понятно, одинокой, —
жить непросто одному...
И пускай поспит у ног он,
если нравится ему».

9.

Утро
солнца тающие струны,
точно дар,
кидает людям вслед...
Светом я
высвечиваю думы,
а иначе мне —
зачем он, свет!
Погорюй — так легче,
Горислава,
но сама себе
не будь врагом:
просто ты
не трожь лесные травы,
голубень-трава тут ни при чем!
Сколько тайн —
любая не случайна,
каждая важнее всех других.
Но любовь —
всем вечным тайнам
тайна,
самая великая из них.
И в тебе она жива, конечно:
на ее невидимой тропе
чувством переполненная
нежность
не находит выхода себе.
Оттого по-девичьи несмело,
светлым ожиданием дыша,
сокровенной жаждой
захмелела,
изомлела
женская душа.
...Чудилось:
за дымкою заката,

музыкой выравнивая строй,
в полный рост все шли
и шли солдаты,
те, что тридцать лет
идут домой!..
Пели голосами молодыми
о любимой Родине своей...
И стояли жены перед ними
с ликом постаревших матерей...
Горислава,
таинств не умерить,
хоть всерьез ты с чувством дорогим
никаким гаданиям
не веришь,
да и я
не верю никаким!
Только ты
на главного солдата
карту кинь
совсем не наугад:
может, гуси-лебеди
когда-то
за тобой из сказки прилетят.

10.

Догадки все
перебрала ты дома,
а догадаться так
и не смогла ты:
зачем же приглашают
военкомы
солдатских вдов
к себе в военкоматы?
...И ты, как провинившаяся в чем-то,

к тому же
 в обстановке незнакомой,
в смущенье
оробевшею девчонкой
стоишь перед
 бывалым военкомом.
И слышишь: «Что ж, порой и мы
находим...
И вот теперь —
 как славы продолженье —
Ерофея Христофоровича орден
вручаем вам
на вечное хранение».
Ты горько шутишь,
что тогда, похоже,
он будет
 и за преданность, наверно...
«За верность долголетнюю...
Ну, что же —
пусть будет он вам, кстати, и
за верность...»
И ты уже сама себя
не помнишь...
По скверу голубок —
белее снега,
идет к тебе
 газоном полутемным,
забавно головой качая пегой.
А пчелы собирают капли меда
в замысловатых чашечках соцветий
и дарят все,
чем велика природа
тебе одной,
 единственной на свете.
Но ничего дороже нет солдата...
И горечь и беду

любого дома
в себя вмещает бережно
и свято
России
 неделимая огромность.
Литой металл
и вызоренный камень,
бетона сплав
 и траурные грабы...
вживаются событиями
в память,
без памяти
 бедна земля была бы.

11.

Духом, милая, воскресни,
а душой — помолодей.
Дума все-таки не песня,
чтоб навек сродниться с ней!
Быть одной!.. А голос рядом:
«Ну да бог с тобой, родной;
отчего же я одна-то,
если горюшко со мной.
Ерофеюшка,— молю я,—
разомкни плечом крутым
землю-матушку сырую,
непонятную живым.
Отойди, восстань душою
у Зееловских высот...»
Только дерево большое
после смерти не встает.
...На любовь свою взгляни-ка:
слышишь, чуешь, Ерофей,—
пахнут губы земляникой
у красавицы твоей.
Слышишь: «Жизнь дарю без тягот,

чем богата — все бери;
пей зарю — хмельную брагу
да светлей с моей зари!
Если снова милой стану,
если буду дорога,
во владенья дам я на ночь
медуничные луга.
Если ж звезды над лугами
станет смахивать гроза,
их зашторю облаками,
чтоб не портили глаза...»
Что ж, солдат, воспрянь из дыма,
разомкни и мрак и дым.
Как ты можешь без любимой,
если ею сам любим!
Обнови ее душою,
озари любви восход...
Только дерево большое
после смерти не встает.

12.

В платье васильковом, налегке,
уходя от горестной печали,
шла с улыбкой щедрой в городке
женщина,
которую все знали.
Потому и в улочках глухих,
пусть хоть и по возрасту не ровни,
не было встречавшихся
таких,
кто б не поприветствовал Петровну.
Ей кричал
завидевший вдали
дедушка, у сквера обозначась:
«Самой светлой
женщине земли

мой поклон

и добрая удача!»

Ей сияли радугой в пути,
ниспадая густо по откосам,
как метеоритные дожди,
в травах заплутавшиеся росы.
И, взглянуть лишь только бы,
гурьбой
выбегала прямо на дорогу,
шебарша пожухлою травой,
с яблонь понападавшая оголь.
Клены у багровых тополей
удивлялись,
а потом и сами
головы склоняли перед ней,
вслед махая тучными чубами.
От любви к себе,
уж как могла,
отвечая принятым приметам,
нежною кувшинкой
расцвела
женщина,

обласканная светом.

Как не улыбаться,
если шло
к ней все то, что горечь
заслонило...
А к тому ж — ей, кстати,
повезло —
малышам диковинки купила.
Не гадала вовсе о таком,
все дивилась женщина: откуда
в городке заштатском тыловом
это появившееся чудо!
Жизнь свои свершения вела,
вроде не случилось ничего бы,

только Горислава где прошла,
пахло апельсинами, должно быть.
Вспомнив с кружевной бахромой
цеха маркировочного стужу,
женщина сама перед собой
будто бы оправдывалась тут же:
«Что уж там,
совсем не в этом суть,
что чулки
я не купила снова...
Перебыюсь и в старых
как-нибудь,
если не сумею

справить новых.

Давеча я слышала сама,
в жизни все отведавшие люди
говорят, что ныне
и зима
все же посговорчивее будет...»
С сумкою увесистой в руке,
отодвинув вдовы печали,
шла в незнаменитом городке
женщина,
которую все знали.
Молодые выводки утят,
ничего не внявшие вначале,
неуклюже шейками крутя,
ей, спеша,

дорогу уступали.

Песни выводили соловьи
в честь ее,
испытывая гордость,
и сопровождали воробьи
женщину знакомую эскортом.
...Не купила теплые чулки...
Оттого разрозненные мысли,

как в холодном небе
мотыльки,
над ее сознанием все висли...
«Я могла б уже не первый год
ничего не делать бы, пожалуй, —
разве тут уйдешь...
коль от сирот
ощущаю легкую усталость.
Счастье —
если радость дать смогла
малышам,
печаль в душе осилив...»
Женщина
гостинцев принесла
маленьким детдомовцам России.
Лишь открыла сумку —
в тот же миг —
никогда такого не бывало:
от литых мундиров золотых
в комнате
 светлее сразу стало.
Духом апельсинов
ширь и высь
налились в ней —
 сладостным и тонким...
И, как бы фонарики,
зажглись
у детей ожившие глазенки.
Женщина,
задумавшись, стоит
и с грустинкой молвит:
можно было —
я б от вас,
 воробушки мои,
никуда бы
и не уходила...»

Спохватилась: «Надо в цех идти...»

Я прошу —

**в деяньях бесконечных
и ее добром не обойди
в звездный час, старательная вечность.
Все одна, одна...
Уж сколько лет!
Как не загруститься Гориславе,
если жизнь прошла,
а на земле
не смогла наследников оставить.
Потому пойдет на огоньки,
встанет у шоссе
за поворотом
и глядит,
 глядит из-под руки,
вдалеке выискивая что-то...**

13.

**Взгляд на взгляд
я осторожно кинул
и дивлюсь —
 как трепетна она:
всех земных печалей
половина
у нее в глазах отражена.
Надо бы чуток и отдохнуть им.
Только это позже,
а пока
пеночки жонглируют на прутьях
в сизоватых кудрях
ивняка.
Звуки тишину густую режут —
слышатся знакомых голоса...
И в глазах — вернувшаяся
нежность.**

Светятся у женщины глаза.
А вблизи товарищи по цеху,
обживая парка бытие,
дружески желают ей успехов
в скромных ожиданиях ее.
...У холма далеких лет березка
загрустила, голову склоня...
Постоим задумчиво
иль просто
помолчим
у Вечного огня.
Может, Гориславе
станет легче —
только бы не стало тяжелей! —
постоять в кругу
меж уцелевших
в битвах

Ерофеевых друзей.
Помолчит солдатка с нами вместе,
а потом, смиряя улиц гам,
как всегда —
с достоинством и честью —
вроде между прочим
скажет нам:
«Хорошо,
должно быть, людям:
где-то
к милым возвращаются...
А я...»
И не знают,

что сказать на это
одинокой женщине друзья.

14.

У могучего древа
родословной твоей

я спросил как-то: «Где он,
твой солдат Ерофей?»
И ответил мне эхом
чей-то голос глухой:
«Он с войны не приехал
в сорок пятом домой.
И теперь уж не встанет,
не вернется назад...
Их на полюшке брани
миллионы лежат».
По дороге солдатской
остаются холмы...
Но извечно по-братски
одержимые, мы
думой правды нетленной
согреваем весь свет,
оттого на земле нам
и покоя-то нет!
Оттого ветром жгучим
обжигает меня.
Сколько их, невезучих,
не пришло из огня.
Эх, водою живою
оживить их смогли б —
но на поле, на воле
отстрадавшей земли
ни колодцев, ни скважин
с колдовскою водой;
есть тяжелая даже,
только нету живой!
Как от родичей кровных,
от людей, от любви,
Горислава Петровна,
ничего не таи...
Пусть глаза синевою
так сияют в пути,

будто счастье какое
 у тебя впереди.
 Светит миру нетленность
 нами прожитых лет...
 Да на русской земле нам
 и износу-то нет!

15.

Как друга друг —
тебя берег я взглядом;
когда бы на виду
у всех друзей
не шел я столько лет
с тобою рядом,
я шел бы против
совести своей.
Из вечности,
окутанной туманом,
все ждешь ты
появления того,
кто стал в тебе
твоей смертельной раной,
не знающий об этом
ничего.
Хочу и я, как ты,
поверить в чудо!
Не смею быть
несправедливым и
не подвергаю
праздным пересудам
спасительные
выдумки твои.
Не ведая
отбоев и привалов
в жестокой
диалектике войны,

надежду ты
 своей любви спасала
и не спасла —
в том нет твоей¹ вины.
Всю красоту любви
 на прочность взвесив,
твоею гордой верою
 храним,
я почему-то вспомнил
 о железе,
тебя совсем
не сравнивая с ним...
...Глотаешь ты,
 захлебываясь, воздух,
все потому,
 что в сердце Ерофей...
И падают
 твои на камни слезы
и высекают
искры из камней.

16.

Твоя любовь
еще сильнее стала.
Не потому ль, что в грохоте боев
через огонь
и вздыбленность металла
из пекла битв
мы вынесли ее.
О Горислава,
мир бывает хрупким,
но, веря в мудрость века самого,
ты все свои
обычные поступки
соизмеряла с мужеством его.

А воздух пахнет
чем-то горьковатым...
Ракеты всплеск,
и комкаются сны...
И потому-то миру
дипломаты,
как и солдаты
русские, нужны.

17.

Сердце жить не могло вполнакала...
И, стараясь свой взлет
обрести,
раньше времени, видно,
устало
и смертельно споткнулось
в пути.
И какой-то
таинственной силой
под припавшею к сердцу
рукой,
еле стукавшее,
уносило
в коронарно-тромбозный покой...
Неспокойно
в приемном покое:
сердце смолкнет на миг...
Оттого
я-то знаю,
что это такое!
И страшусь — как никто —
за него.
Чем помочь!
Что такое бы сделать,
чтоб спасти у беды на краю...
И гляжу я

почти очумело
в неделимую душу твою...
Не хочу я поверить!..
И верю:
есть пути
для спасенья его.
Так закройте же,
ангелы, двери
и не ждите
 к себе никого.

18.

И все-таки мир
удивительно зыбок,
не все в нем идет
от высокой мечты...
На улице Ягодной столько улыбок,
а в этом же городе,
за полверсты,
на улице Звездной,
за сквером Крылатых,
в зеленом созвездии русских берез, —
стенанья и плачи,
молитвы и клятвы, —
а сколько еще неисплаканных слез...
За минувший срок немалый,
а точней — за тридцать лет,
износилась — и не стало
человека на земле.
И не думала, а вышло,
оставляя в жизни след,
детям воинов погибших
согревала белый свет.
Нет, не день, не два, а годы
им, к кому со смены шла,
маркировщица завода

чувства добрые несла.
И в детдоме, как бывало,
с детским встретясь бытием,
резче запахом металла
руки пахли у нее.
Детям жить желала мудро
и в войну и не в войну...
Пусть, когда им станет трудно,
вспомнят женщину одну...
Печаль
 не сразу б признали,
а горе
 видно издали.
Земля дает значительно
тепла и света
меньше нам,
когда, как зорька чистая,
от нас уходит
женщина.
Уходит...
Перемолото
годами все — что помнится,
и обдает нас
холодом,
как ночь
своей бессонницей.
Идут, которых
нянчила
и на ноги
поставила.
И слышим: не иначе как
заслуга
Гориславина...
А звуки, рождаясь в утробе оркестра,
в процессии длинной
себя не уймут...

И столько народу,
что в улицах тесно,
и даже на площади тесно ему.
От музыки скорбной
и речи немеют...
Она, возвещая последний салют,
до места печали
доходит быстрее,
чем тяжкое горе туда донесут.
И клены, склонясь,
приспустили знамена,
и птицы притихли, и ветер погас...
О мир, почему ж, нами
трижды спасенный,
ты нам Гориславу Петровну не спас!
«Да что там случилось?
Скажите на милость,
кому воздается особая честь?»
Движение города
остановила
нагрянувшая чернокрылая весть.
Плывет Горислава Петровна в покое
на крепких опорах
натруженных плеч,
была Горислава нам в жизни родною,
а мы не сумели
ее оберечь!
Не знала она никогда недогрузки,
мы в этом не раз убедиться могли;
уж, как говорится,
все было по-русски:
кто молча везет —
на того и вали.
Ни в чем никому не ища оправданья:
«Да мы уж, как водится, —
молвил старик, —

на помощь приходим порой
с запозданием
к тому, кто печется всегда о других».
Потом, сгустив на лбу морщины,
он нас корил, что рядом шли:
«Какие ж к черту вы мужчины,
когда ей жить
не помогли!..»
...Гудки не стихают, и музыки волны
текут, словно люди бредут к проходным.
Да это завод Гориславы Петровны
прощается с мастером лучшим своим.
А жизнь идет!..
Сияя небом,
росинки в травах залегли.
И пахнет самым вкусным —
хлебом
от прослезившейся земли.
А где-то вверху,
под созвездьями где-то,
на крыльях с просветом блескуче-седым
проносится время
со скоростью света,
и белая лента струится за ним.
И в дымке тягуче-туманной и серой,
в шествии траура и тишины
плывет на подушечке
степени первой
орден
Отечественной войны.
И вспомнили все
Бурмина Ерофея
еще по работе его заводской...
И плачет оркестр,
себя не жалея,
тесня над рядами зыбучий покой.

Ну, что же, почувствуй скорбь жилкою каждой,
последнюю оду умершей сыграй,
поскольку туда
мы уходим не дважды,
в тот самый не нами
придуманный рай.

А в роще такое
созвучие лета!
В искрящихся травах ромашки цветут,
невестятся липы, советуясь с ветром,
гремят соловьи
у бровастых запруд.
И день, уходящий дорогой негромкой,
в пространстве убавившейся синевы
смахнул зоревое окраса каемку
с высокой, как небо,
своей головы.
Построили ей мы,
как можно попроще,
на вечные веки

земное жилье...

Ее положили
в Березовой Роще
под самой любимой
березкой ее.

Содержание

Землепроходцы

Одоление		5
Плотогонич		6
В сургутском далеке		8
Рассвет в тайге		10
«Березка...»		12
Баллада об открывателе		13
Добрая встреча		15
Малыши		17
Землепроходцы (баллада)		18
«Теснился гул...»		21
Устремленность		22
«Не лови меня на уговоре...»		25
Достоинство		26
В дороге		27
Мама		29
Родине		31

Сердцебиение

Ода горе Высокой		35
Плавка		37
Весна на Урале		38
Плывет заря		40
Город — дом родной		42
Монтажник		44
Новый день		46
Уральское лето		47
Пожелай мне удачи		49
Ожидание		51
Петровна		53
«Мир земли...»		55
Неотделимость		57

Отчизне	58
Сердцебиение	60

Светозорье

Утро	63
Светозорье	64
Доброта	65
В Петрокаменске	67
Соловьиное	68
Луговина, луговина	70
Мое село	72
Вечернее	74
Дёма	75
Другу	77
«Я отлучусь от шумной суеты...»	79
Я люблю	80
«Идущая в самый зенит...»	82
Дума	83
«Всему во всем...»	84
«...И рухнул клен, теряя силы...»	85
Воробьишки	86
Подснежники	88

Бессмертники

Красный флаг	91
«Я на войне...»	92
Мы у Отечества учились	93
Бессмертники	94
Высота	95
Солдату	96
Волочаевка	97
Святая суть	98
На страже	99
Степная сторона	100

Тишина		101
Могу...		102
России		103
Горислава (поэма)		105

Леонид Григорьевич Шкавро

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Стихи, поэма

Редактор *Л. Вьюнник*

Художник *Е. Поляков*

Художественный редактор *Б. Мокин*

Технический редактор *Л. Дунаева*

Корректор *В. Дробышева*

ИБ № 1233

Сдано в набор 14.09.78. Подписано к печати 10.01.79. А10409. Формат 70X90/32. Бумага тип.

№ 1. Печ. л. 4,5. Усл. печ. л. 5,27. Уч.-изд. л. 5,27. Тираж 20 000 экз. Заказ № 4289.

Цена 65 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

**390012, Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография**

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

*121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»*

65 нн.